

Евгений Маурин

На обломках трона



Евгений Иванович Маурин
На обломках трона
Серия «Приключения Аделаиды Гюс», книга 5

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=153294

Аннотация

«При Робеспьере, особенно в последние месяцы его «царствования», террор дошел до апогея безумия. С падением Робеспьера террор пошел на убыль. Но обстоятельства сложились так, что лишь террором поддерживался дух республики.

Если разобраться строго в исторических фактах, уже при Робеспьере от республики не оставалось и следа: была навязанная народу диктатура. Но форма правления данного народа всегда определяется степенью его готовности для восприятия более совершенной формы. Если эта «степень восприятия» невелика, нечего ждать быстрого перехода к более совершенной форме. Революция 1791 года была вызвана, главным образом, экономическими причинами, но общая толща народа еще не могла усвоить себе истинные задачи народоправия. Вот почему первая республика просуществовала так недолго: у нее не было корней в народном сознании...»

Содержание

I	4
II	7
III	11
IV	16
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Евгений Иванович Маурин

На обломках трона

I

При Робеспьере, особенно в последние месяцы его «царствования», террор дошел до апогея безумия. С падением Робеспьера¹ террор пошел на убыль. Но обстоятельства сложились так, что лишь террором поддерживался дух республики.

Если разобраться строго в исторических фактах, уже при Робеспьере от республики не оставалось и следа: была навязанная народу диктатура. Но форма правления данного народа всегда определяется степенью его готовности для восприятия более совершенной формы. Если эта «степень восприятия» невелика, нечего ждать быстрого перехода к более совершенной форме. Революция 1791 года была вызвана, главным образом, экономическими причинами, но общая толща народа еще не могла усвоить себе истинные задачи народоправия. Вот почему первая республика просуществовала так недолго: у нее не было корней в народном сознании. Что же удивительного, если так быстро оправдалось пророчество гениальнейшего политического проходимца Фушэ: «Сам не сознавая этого, Робеспьер работает для другого, неведомого, того, который еще должен прийти».

Действительно Робеспьер подготовил Францию к диктатуре, которая впоследствии превратилась в империю. Вся послеробеспьеровская эпоха является логическим переходом к наполеоновщине. При Робеспьере диктатура оставалась еще в области идеи, она была непосредственно связана с самой личностью Робеспьера, но не формулировалась определенным законом. Номинально правил народ, только фактически власть сосредоточивалась в одних руках. А с падением Робеспьера диктатура стала занимать все более равное место в законе об управлении, пока не вылилась в прежнюю форму единодержавия, при котором народоправию уже не отводилось никакого места даже номинально. «Неведомый», который, должен был прийти и для которого бессознательно работал Робеспьер, лишая республику ее жизненных соков, оказался еще большим деспотом, чем, пожалуй, прежние французские короли.

Этим «неведомым» был Наполеон Бонапарт. Наполеон, родившийся в 1769 году, происходил из патрицианской корсиканской семьи. Он выделился впервые при взятии Тулона (1793 г.), состоя в чине капитана артиллерии. В первой итальянской кампании (1794 г.) он уже участвовал в чине бригадного генерала. Но хотя ему было в то время всего лишь двадцать пять лет, в этой быстрой карьере отнюдь нельзя усматривать раннее признание его таланта. Республика нуждалась в образованных офицерах, офицеры-роялисты или эмигрировали, или были казнены, и их же участь разделили многие республикански настроенные военачальники, со стороны которых правительство Робеспьера могло опасаться военной диктатуры. Вот почему всякий мало-мальски способный офицер делал быструю карьеру. Но многие из тех, которые впоследствии служили в первой империи маршалами, в это время были несравненно более на виду, чем Бонапарт.

После падения Робеспьера и в краткое время господства термидорийцев Бонапарт оказался в немилости. Между тем он вообще не занимался политикой. Он уже питал великие планы, но ничем не выказывал их. В душе он относился совершенно равнодушно даже к республиканской свободе. Правда, великий красноречивый и любитель громким словом поднять дух солдат, Наполеон пользовался эффектными разглагольствованиями о свободе и респуб-

¹ См. роман Е. И. Маурина «Кровавый пир».

лике, чтобы создать для армии яркий боевой стимул. Но это был прием искусного военачальника, а не крик души искреннего республиканца.

Итак, Наполеон оказался в немилости. Оставалось лишь ждать когда придет его час. Этот час пробил 13 вандемьера (октября) 1795 года, когда понадобилась беспринципность молодого генерала для спасения директории.

Погубив Робеспьера, термидорийцы отправили на эшафот всех его единомышленников и клеветников. Погиб и Фукье Тенвиль, обвинитель революционного трибунала, обвинявший сначала врагов Робеспьера, а потом и его самого. Последнее не спасло Тенвиля, ему пришлось разделить участь павшего диктатора.

Но вскоре пришел черед и термидорийцев. Они недолго оставались у власти, в конвенте стал наблюдаться резкий поворот к умеренности политических воззрений.

Тем временем роялисты воспользовались общей политической неурядицей и подняли голову. Народные волнения следовали одно за другим. Толпы черни являлись к зданию конвента и требовали «хлеба и конституции». Читатели помнят из романа «Кровавый пир», что Робеспьер с друзьями непрерывно оттягивали срок введения конституции в действие. То же самое продолжалось и теперь, и когда 22 августа 1795 года конвент обнародовал вступление в силу конституционных гарантий, то оказалось, что это – уже не прежняя, а совершенно видоизмененная конституция.

По конституции 1795 года власть вручалась директории, состоявшей из пяти директоров. Каждый из директоров в течение пяти месяцев именовался президентом. Законодательная власть была распределена между советом молодых, так называемым «советом пятисот» (по числу членов), который составлял законы, и «советом старейшин» (из 250 членов), который мог отвергать эти законы, если находил их противными духу конституции.

Таким образом, в директории уже сказался явный переход к узаконенной диктатуре: число лиц, правивших государственным рулем, сокращалось до пяти.

В обнародовании конституции роялисты усмотрели серьезную опасность: если народ освоится с этой новой формой правления, его будет трудно поднять на восстановление прежней. И вот роялисты в вандемьере (октябре) 1795 года подняли восстание. Против сорока тысяч восставших конвент мог противопоставить всего каких-нибудь две тысячи. Были спешно вытребованы войска из саблонского лагеря, депутатам были розданы ружья.

С самого начала в обращении с повстанцами-роялистами не было проявлено надлежащей твердости. Генерала Мену, назначенного главнокомандующим войсками конвента, пришлось сейчас же сменить из-за подозрительной снисходительности к роялистам. Но и заменивший его Баррас повел себя настолько нерешительно, что мятежники осмелились в самой дерзкой форме поставить ультиматум конвенту, и этот ультиматум стали даже обсуждать. Вдруг прения по этому поводу были прерваны грохотом пушек. Оказалось, что генерал Бонапарт, которому было поручено занять улицу Сент-Онорэ, самым спокойным образом принялся аргументировать картечью. Роялисты обратились в бегство, оставив на месте сотни убитых. Мятеж был ликвидирован.

Теперь правительство принялось за государственное строительство. Душой директории стал Баррас, заведовавший полицией и внешним представительством. Хотя военными делами заведовал Карно, но благодаря Баррасу Бонапарт получил ответственное назначение на пост генерала-главнокомандующего итальянской армии, терпевшей неудачу под командой генерала Шерера. Большую роль в этом назначении сыграла Жозефина Богарнэ.

Жозефина была вдовой генерала Богарнэ, казненного в 1794 году. Креолка родом, до крайности пустая, легкомысленная, некрасивая, но крайне привлекательная, способная кружить головы, Жозефина играла большую роль в веселящемся обществе того времени. Ее любовники насчитывались десятками. Среди них был и Баррас.

После «блестящего» усмирения мятежников на улице Сент-Онорэ генерал Бонапарт стал героем парижского общества. Дамы заинтересовались двадцатилетним «героем», до крайности неловким в обществе, серьезным и неумелым в обращении с женщинами; В числе их была и тридцатидвухлетняя Жозефина. Она стала кокетничать с Бонапартом и сумела быстро влюбить его в себя. Однако тут же испугалась. Бонапарт оказался таким неистовым, таким бурно-пламенным, каким она не рассчитывала встретить его под внешней корою ледяного равнодушия, которой обычно было облечено все существо серьезного генерала. Жозефина пыталась отделаться от неудобного поклонника, но при настойчивости Бонапарта это было нелегко сделать. Не обращая внимания на разницу в возрасте, на легкомысленную репутацию молодой женщины, Бонапарт сделал ей предложение. После некоторой борьбы Жозефина приняла это предложение. Она обратилась к старому другу Баррасу с просьбой дать ход Бонапарту, так как вовсе не желала быть женой какого-то «полицеймейстера», которого используют только для усмирения взбунтовавшейся черни. Так в 1796 году состоялось назначение Бонапарта в итальянскую армию.

Бонапарт бурей пронесся по Италии, слава французского оружия была вознесена до небывалых высот. В Париж Наполеон вернулся уже признанным героем.

Теперь Наполеон Бонапарт задумал решительный ход, сказавшийся в египетском походе. Вот как он объясняет свои мотивы в «Воспоминаниях», которые вел на острове Святой Елены и в которых всегда говорил о себе в третьем лице: «Чтобы Бонапарт стал хозяином Франции, директория должна была потерпеть неудачи в его отсутствие, а с его возвращением и победа должна была вернуться к французским знаменам». Действительно, в то время как Бонапарт победоносно (и совершенно бесполезно, к слову сказать) пронес французское знамя по Египту, во Франции дела приняли плохой оборот. Французская армия стала терпеть поражения, директория скомпрометировала себя в глазах народа неудачными законами, роялистское движение все усиливалось. Бонапарт счел момент удобным для совершения переворота. Он покинул армию и явился в Париж 18 брюмера (9 ноября) 1799 года. Бонапарт при барабанном бое, заглушавшем протесты, солдатскими штыками выгнал депутатов «совета пятисот» из зала заседания. Конституция была отменена, органом правительственной власти стало консульство из трех лиц. Первым консулом, главой правительства, оказался, конечно, Бонапарт. Таким образом диктатура пяти членов в директории заменилась диктатурой консульства из трех членов. Вскоре Бонапарт заставил признать себя пожизненным первым консулом: теперь число «три» сократилось до «единицы»!

Став консулом, Бонапарт сразу показал себя во весь идейный рост. Достаточно упомянуть, что он восстановил рабовладельчество в колониях. И это делалось под прикрытием республиканского знамени, провозгласившего свободу главным и непогрешимым догматом грядущего строя!

Но о республике теперь говорить было уже нечего. Она кончилась совсем не 18 мая 1804 года, когда Бонапарт приказал провозгласить себя императором. Агонизировавшая под ударами робеспьеровской гильотины первая французская республика фактически скончалась под ударами штыков, которыми солдаты Бонапарта изгоняли из зала депутатов, а из Франции – конституцию и законность!

Дальнейшая судьба Наполеона, как императора, общеизвестна. Но она нас в данном случае и не интересует. Наше повествование относится к тому времени, когда на обломках королевского трона робко и смутно стал вырисовываться силуэт императорской короны. Побег новой формы единодержавия уже пробивались из-под развала старой. Все видели их, никто не придавал им значения. Но когда на вырубленной полянке мы видим тоненькие зеленые веточки, робко жмущиеся к угрюмым пням, разве мы отождествляем эти побеги со срубленными гигантами?

II

– Парижане удивительно напоминают мне мух осенью! – сказал Франсуа Жозеф Тальма, стоя у большого венецианского окна в директорском кабинете и любуясь видом пестро разодетой толпы, заполнившей улицу. – Вы обращали когда-нибудь внимание? Подует холодный ветер, и мухи безжизненно валятся, где попало. Но стоит только первому солнечному лучу обогреть их, как они уже снова жужжат, словно ничего и не было! Вы посмотрите только на эту массу народа! А что делается на главных улицах! В открытых кафе – ни одного свободного столика!

– Ну, это так понятно! – ответил директор «Комеди Франсэз». – После ужасающего сентября и невозможного начала октября небо вдруг подарило нас истинно летним днем, и нет ничего удивительного, если парижане устремились на воздух!

– Да нет, вы меня не поняли! – возразил Тальма. – Я имею в виду вовсе не капризы погоды и не сегодняшний день! Меня поражает, как быстро парижане забыли все ужасы недавнего прошлого. Три года отделяют нас от «сентябрьских убийств», меньше двух – от «эпохи фурнэ» и менее двух недель от событий «тринадцатого вандемьера». А ведь возьми тогда верх роялистские инсургенты, и «сентябрьские убийства» повторились бы снова, только в обратном направлении. Страшно подумать! Но парижане и не хотят думать, не хотят вспоминать! Они весело жужжат, как ожившие мухи, сразу забыв о холодных ветрах и морозах. Недавно я был на завтраке у госпожи Гильом. К концу завтрака приехали две прославленные распутницы – Тереза Тальен и Жозефина Богарнэ. Зашел разговор о предстоящем вечере у Барраса в честь «генерала Вандемьера»², и обе трещотки начали наперебив жаловаться, что с портнихами и сапожниками просто слада нет. Весь этот народ ужасно обнаглел, дерет страшные цены, ничего не делает вовремя, грубит – просто ужас! «Ну знаете, сударыни, – пошутил я, – прежде все-таки было хуже, когда эти сапожники и портные тащили нас на гильотину, если только не расправлялись собственноручно тут же, на улицах! Вот было ужасное время! Все мы сидели по своим углам, забаррикадивав двери и вздрагивая при малейшем шуме. Впрочем, вам все это хорошо известно, потому что, насколько помнится, вас обеих выручило из тюрьмы только падение Робеспьера!» Не успел я договорить, как обе дамы окинули меня взглядом гневного презрения, встали и ушли, сказав госпоже Гильом, что зайдут в более удобное время. А госпожа Гильом очень добродушно заметила мне: «Милый Тальма, хоть вы и – великий актер, но не надо забывать светские приличия! В Париже не принято теперь вспоминать об этих ужасах. Это – дурной тон». Как вам это понравится, а? Вспоминать о том, что так болезненно коснулось всей Франции, – дурной тон!

Директор хотел что-то ответить, но в этот момент в кабинет вошел слуга с «листком для посетителей» на подносе. Директор взял в руки листок и громко прочел:

– Аделаида Гюс!

– Аделаида Гюс! – воскликнул Тальма, сейчас же забывая изменчивость парижан и равнодушие золотой молодежи к прошлому. – Знаменитая Адель! Господи, ведь о ней давно уже не было ничего слышно! Вы знаете, ведь я ее помню! Мне было лет девять или десять, когда меня однажды взяли в театр на парадный спектакль. Присутствовал какой-то иностранный принц, давали «Заиру». Потом говорили, что принц серьезно увлекся Аделью. И понятно! Какое редкое сочетание поразительной красоты и таланта! Просто не понимаю, где она могла быть все это время? О ней ничего не было слышно. Да ведь между тем, какое дарование и внешность...

² Так прозвали Бонапарта после его «мастерского» усмирения бунтовщиков тринадцатого вандемьера.

– Милый Тальма, – перебил его директор, – это было лет двадцать пять тому назад?

– Да, около того.

– Но ведь Гюс не была тогда в начале своей карьеры.

– О, нет! Она была в полном расцвете лет, и за нею уже значился длинный ряд успехов на сцене и в жизни. Поэты слагали в ее честь оды, князья и принцы крови и капитала несли к ее ногам...

– Значит, ей было не менее двадцати лет тогда? – снова перебил его директор.

– Конечно, нет, даже больше! По-моему, ей было тогда никак не менее двадцати пяти или даже...

Тальма вдруг замолчал, заметив, с какой коварной улыбкой смотрел на него директор.

– Что же вы не продолжаете, милый Тальма? – сказал директор. – Значит, ей было не меньше двадцати пяти, если не больше. А было это около двадцати пяти лет тому назад? Ну, так немножко элементарной арифметики, и вы сразу найдете ответ на свое недоумение, почему талант и былая внешность не смогли помочь ей удержаться на подмостках до сих пор! Я уже проделал этот подсчет и потому два раза уклонялся от приема.

– Но теперь вы примете ее? – спросил Тальма, подхваченный жалостью к скатившейся звезде парусинового неба.

– К чему? – с оттенком грусти ответил директор вопросом на вопрос. – Вы знаете, что премьерши никогда не свыкаются с мыслью о старости. А ведь Гюс пришла просить места. Что могу я предложить ей? Наша труппа в полном составе. Или, может быть, мне отпустить актрис и передать Гюс роли молодых девушек? Неужели вы думаете, что такая «бывшая величина», как Гюс, не примет за оскорбление, если я предложу ей второстепенные старушечьи роли?

– Но нельзя же отказывать просителю в приеме на основании одних только предположений! – взволнованно возразил Тальма. – Откуда вы можете знать, что у Гюс непременно должны быть большие претензии? А, может быть, она терпит нищету, наголодалась и теперь будет рада какой-нибудь сотне ливров в месяц? Как бы полна ни была наша труппа, но бюджета «Комеди Франсэз» не отягчит лишняя сотня, в которой сцена не имеет права отказать «бывшей величине»! А, кроме того, почему вы решаете сразу, что для Гюс не найдется роли, кроме второстепенной? Вот мы с вами только что говорили о восстановлении некоторых шедевров классического репертуара. Скажите мне, пожалуйста, с кем вы поставите хотя бы «Аталию»?

– Уж не Аделаиде ли Гюс играть Аталию?

– А кто имеет на это больше прав и оснований?

– Но вашей Гюс пятьдесят лет!

– А сколько могло быть Аталии, если она – бабушка взрослого внука? Нет, дорогой директор, восстанавливайте классические пьесы, но не классические ошибки! Я знаю, что прежде Аталию играли совсем молодой, но я уже не раз говорил вам, что немедленно отрясу прах от своих ног, если «Комеди» не отрешится от рутины, если в сценическое творчество не будет внесен более свежий, более естественный дух! Но, конечно, раз господин директор будет во всем исходить из предвзятого, непроверенного мнения, если...

– Но не волнуйтесь, дорогой Тальма! – ласково остановил директор расхвалившегося актера. – Вы знаете, я никогда не противоречу вам в ваших сценических реформах и начинаниях и вижу в вас великого обновителя французской сцены! Но в данном случае мы далеко ушли от непосредственной темы нашего спора. Вы хотите, чтобы я принял госпожу Гюс? Отлично! Жозеф, попросите эту даму войти!

Жозеф, с бесстрастным лицом слушавший этот спор, спокойно повернулся и возвратился в приемную. Но бесстрастие сразу слетело с его лица, когда он быстрым шепотом

том посвятил просительницу в суть разговора между директором и Тальма: Жозефу было хорошо заплачено за такое внимание.

При появлении Адели в кабинете Тальма с нескрываемым интересом впился взглядом в ее лицо, а директор невольно встал ей навстречу. Ведь эта женщина представляла собой целую блестящую страницу славного прошлого французского театра, ведь ее в ореоле славы видели подмостки прежней, истинной³ «Комеди Франсэз»! Правда, теперь пора блестящего расцвета, участницей которого была Гюс, казалась во многом смешной, и то, чего безуспешно добивались Лекен и Клэрон⁴, уже вошло в плоть и кровь сценического творчества. Словно несколько столетий отделяло эпоху Гюс от эпохи Тальма. Но именно это и увеличивало в глазах директора ореол Аделаиды Гюс. Так мы обнажаем голову перед старой, ненужной, обветшалой, потускневшей реликвией, наглядно говорящей нам о славе былых веков.

С иным чувством смотрел на Адель Тальма. В этот момент он забыл о том, что он – великий актер, предтеча новых веяний, мощный реформатор сцены. Он почувствовал себя тем самым мальчиком, который жадно ловил каждое слово Заиры, тогда как вид прекрасной артистки впервые пробудил в невинном доселе сердце отрока ранние томления чувственности. Сколько ночей не спал он тогда, мечтая о дивной Гюс, воссоздавая в воображении каждую линию, каждый изгиб ее прекрасного, пластического тела!

Да, словно и не прошло с тех пор двадцати пяти лет, с таким молодым чувством встретил Тальма входившую Гюс. Но едва только он кинул взор на артистку, как сейчас же резко отвернулся к окну. В душе увлекающегося художника плакала оскорбленная мечта. Неужели это была Гюс? Неужели это была греза его отрочества?

Но Адель не заметила этого жеста. Директор подвинул ей кресло, попросил присесть и спросил:

– Чем могу служить вам, сударыня? Впрочем, что я и спрашиваю! Имя Гюс само говорит за себя, и, конечно, вы хотели бы...

Он несколько замялся.

– Да, я хотела бы попытать счастья, может быть, для меня найдется местечко в труппе? – ответила Адель.

– О, почему бы и нет! Но... это, конечно, зависит... Поймите сами, сударыня...

– Я отлично понимаю! – ответила Адель, грустно усмехаясь. – Ведь я не из тех, которые до гроба строят себе иллюзии. О, мое время прошло! Я знаю, что не могу рассчитывать на прежнее, о, нет! Но я думала... что-нибудь маленькое... Все-таки за мной – большой опыт. Правда, я уже несколько лет, как отошла от сцены, но разве этому можно разучиться? Да и тоскливо, хмуро стало мне на душе без театра на старости лет. Старая собака подползает к ногам хозяина, чтобы умереть около того, кому она служила всю свою жизнь. Я – такая же собака.

³ Театр «Комеди Франсэз» был основан на улице Фоссэ-Сен-Жермэн. В предреволюционную эпоху среди артистов произошел раскол на почве разности политических взглядов. Часть труппы (в том числе и Тальма) основали в здании Пале-Рояля (на улице Ришелье) другой театр. Прежний, под названием «Театра Нации», ставил антиреволюционные пьесы, а новый, называвшийся сначала театром «свободы, равенства и братства», а потом «Театром Республики», всецело отдался революционному течению. Республиканское правительство закрыло первый театр. После падения Робеспьера остатки обеих трупп соединились в театре на улице Ришелье, где театр «Комеди Франсэз» существует и поныне.

⁴ По давней традиции на сцене (равно как и в живописи) античные и библейские герои одевались в современные представлениям одежды, и греки, римляне или иудеи щеголяли в бархатных камзолах с кружевами, при напудренных париках и шпагах. В половине XVIII века актер Лекен и актриса Клэрон восстали против подобных анахронизмов, но их протесты вызвали только насмешки. Тальма тоже вступил в борьбу с этой нелепой традицией, требуя, чтобы быт эпохи, к которой относится представление, воспроизводился по уцелевшим памятникам древности: статуям, вазам, медалям и т. п. Очень быстро ожесточенный протест актеров против такого новшества сменился признанием взглядов Тальма, которые в эпоху настоящего рассказа были всецело усвоены. Точно так же Тальма страстно ратовал за простоту чистки роли без напыщенной фальшивой декламации, что являлось большим злом в сценическом творчестве прошлого.

Голос Адели дрогнул, она стиснула зубы и нервно затеребила платок, который держала в руках.

Тальма резко отвернулся от окна, взволнованно подошел к Адели и с дрожью в голосе сказал:

– Напрасно вы говорите так! Талант не имеет возраста! Вы не поняли слов господина директора; и это причинило вам страдание. Господин директор хотел лишь указать на то, что изменение наружности логически влечет за собой изменение характера исполняемых ролей. Прежде вы играли молоденьких, теперь вы должны перейти на роли пожилых. Тут нет ничего обидного и позорного. Нет плохих ролей, существуют только плохие актеры. Может быть, вы знаете, что свое имя я составил себе Карлом IX⁵, ролью, от которой отказывались все остальные актеры! Ну, так не надо же унижать себя! Такая сила, как Аделаида Гюс, всегда желательна во всякой труппе. Мало ли ролей, в которых вы можете потрясти публику? Аталия, королева в «Гамлете», Екатерина в «Карле», да разве их перечесть? Кроме того, господин директор хотел еще сказать, что теперь дела театра далеко не прежние, никаких субсидий нет, расходы увеличились, а потому артисту придется быть скромным в своих гонорарных требованиях. Сразу на большое жалование вы рассчитывать не можете, но не потому, что «ваше время прошло», а потому, что времена вообще переменялись. Я извиняюсь, что взял на себя смелость говорить от имени господина директора, но перед вашим приходом мы уже обсуждали кое-что касательно этого вопроса, а потому я в курсе намерений дирекции. К тому же я видел, что ваши переговоры сразу принимают неправильный оборот, и хотел избавить вас от ненужного самоуничужения. Вот и все. Аделаиде Гюс первая французская сцена не имеет права отказать в ангажементе. Вопрос только в том, удовлетворитесь ли вы скромными условиями. Но это – вне моей компетенции, а потому, чтобы не мешать вам стовариваться, я покидаю вас! Имею честь кланяться! – и Тальма взволнованно вышел из кабинета.

Словно зачарованная смотрела ему вслед Адель. Горячей волной пронизывало ее обаяние этого стройного, высокого мужчины с царственной головой, тонким, нервным лицом, орлиным носом и пламенными, выразительными глазами! А голос, голос! Мягкий, звучный, богатый интонациями, так и льющийся от сердца к сердцу! И с какой горячностью он вступился за нее, как он должен любить свое дело, если страдания артистки, некогда знаменитой, но теперь оставшейся за колесницей убегающего времени, преисполняют его сердце такой острой жалостью!

Но только ли одной жалостью?

Женщина несправима, существуют иллюзии, от которых она никогда не в силах отделаться окончательно. Что бы ни говорили ей зеркало, разум, сознание, в тайном уголке ее души вечно дремлет надежда на то, что ее обаяние еще не утрачено окончательно.

Так и Адель. Она была совершенно искренна, когда сказала: «Мое время прошло». И все же, словно в тумане слушая директора, говорившего об условиях, Адель с робкой радостью прислушивалась к еле слышной песенке, которую запевали птицы надежды в ее еще неизжившем сердце.

⁵ Когда было решено поставить пьесу Шенье «Карл IX, или Школа королей», никто из труппы не хотел браться за исполнение заглавной роли, не решался выйти перед публикой в роли отвратительного монарха-убийцы. За роль взялся Тальма, он подчеркнул зависимость Карла от матери и так выпукло представил страдания короля от упреков совести, что роль получила совершенно новое освещение, пьеса имела бурный успех, а Тальма сразу выдвинулся на первый план.

III

Вечерело. На улицах еще дрожали последние лучи солнца, но в конторе Пьера Фрибура стало уже совсем темно.

Гаспар Лебеф с трудом дописал последние строки и, положив перо, с облегчением расправил замлевшую в долгом изгибе спину. Его взор со сладкой грустью скользнул по комнате. Теперь, когда вечерние тени скрадывали отдельные детали, казалось, будто эта комната – все та же, прежняя, будто в ней ничего не изменилось за сорок лет. Вот там же, в том углу, склонялась над бумагами седая голова старого дяди Капрэ. Сколько надежд было связано тогда у юноши Гаспара с этой седой головой! И все неожиданно скомкалось роковой страстью к восходящей звезде, Адели Гюс! В клочья разметались все виды на будущее, все расчеты на мирную, буржуазную жизнь. Дяде Капрэ пришлось оставить надежду передать все дело племяннику, он продал контору старому клерку Жозефу Фрибуру. И вот пришел момент, когда Гаспару пришлось увидеть на том же месте другую седую голову. Ах, сколько искушения открылось перед Лебефом в тот момент, когда голова Жозефа оторвалась от бумаг и поведала ему условия получения наследства, оставленного старым Капрэ! Ведь Гаспару стоило только произнести каких-нибудь пять слов: «Я порвал с Аделаидой Гюс», и все наследство было бы без всяких затруднений вручено ему! Но он не мог сказать заведомую неправду, Адель не разрешала его от легкомысленно данной клятвы. И вот пришел момент, когда из того же угла поднялась новая седая голова, голова Пьера Фрибура, сына Жозефа. Это было в тот момент, когда Лебеф пришел смиренно просить места в той самой конторе, где мог бы быть хозяином...

Лебеф отмахнулся от воспоминаний. К чему они? Разве теперь можно изменить что-либо? Каждый должен покорно и терпеливо пожинать то, что посеял сам. Гаспар встал, сложил бумаги и сказал:

– Я пойду, патрон! Я кончил.

– Ну, конечно, ступайте, милый мой Лебеф! Напрасно вы сидели так поздно, ведь спешных дел нет. Эх, и охота вам корпеть над трудом жалкого поденщика, когда вы могли бы жить в довольстве и почете! Пять слов, всего только пять маленьких слов! Никаких формальностей, никакой ответственности! Хоть убей, не понимаю я вас, мой милый!

– К чему мы будем снова заводить этот разговор, патрон? – грустно заметил Гаспар. – Разве мы мало беседовали с вами об этом? Дядя только потому и не обставил получения наследства формальностями, что знал меня и был уверен, что я не нарушу его воли. Так должно быть, так будет. Я пойду. До завтра, патрон!

Гаспар вышел на улицу. День быстро угасал, но повсюду царил шумное оживление. Парижане спешили вознаградить себя за прошедшее тяжелое время, когда власть, словно мертвая голова в бесовской игре, перебрасывалась из рук в руки, обдавая все вокруг фонтаном горячей крови. Тогда было не до веселья, не до развлечений. Каждый стремился поскорее укрыться в свою нору; бывало так, что целые семьи сидели по двое суток без хлеба, не осмеливаясь выйти на улицу, и с тоской поглядывали на бесполезные деньги. А сколько несчастных сошло с ума от вечного страха, сколько их погибло на эшафоте только потому, что, не вынеся муки ожидания, они бросались на улицу и в припадке безумия возводили на себя страшные преступления!

Но все прошло. Время исключительных положений миновало. Конституция, наконец-то опубликованная хотя и в урезанном виде, гарантировала гражданам безопасность от административного произвола. Попыткам роялистов использовать в своих целях наступившее спокойствие был положен решительный конец. Тучи рассеялись. Теперь парижане

могли снова стать самими собой. И опять после долгого затишья улицы наполнились шумной разряженной толпой, так и сыпавшей шутками, смехом, искрометным весельем.

Лебеф задумчиво лавировал среди толпы. Его мысли перескакивали с одного на другое. Он размышлял о заколдованном наследстве, которое лежало так близко и в то же время так далеко, думал, удастся ли новая попытка Адели устроиться в театре, и о том, как изменилась она за последние два года.

Да, только два года прошло с тех пор, как погиб Робеспьер. Какое дьявольское торжество светилось в глазах Адели, когда с безумным хохотом, дикой пляской и страстными выкриками она описывала страдания сраженного ее выстрелом, оплеванного ею диктатора!

Несколько дней она была сама не своя, и что-то жуткое, болезненное чувствовалось в ее торжестве. Затем она слегла, болела долго и тяжело, а когда оправилась, ничто не напоминало в ней разнузданной мегеры эпохи террора. Адель стала тише, мягче, ласковее, и нередко с ее уст слетало прежнее обращение «братишка», такое наивно-причудливое в устах этой пятидесятилетней женщины по отношению к пятидесятипятилетнему старику.

Лебефа не удивила резкая перемена в характере Адели. Он знал из прошлого, как катастрофичны бывали для нее бурные взрывы страстей. Разве не стихла она после орловского удара хлыстом? Разве не безупречна была ее жизнь, когда она в тиши готовила страшный удар гордому фавориту, надеясь на отмщение? И какой дикой, истерической разнузданностью сменилась эта безупречность, когда удар миновал фаворита, когда судьба отказала ей в справедливом возмездии!

Да, Лебеф лучше кого-либо другого, лучше самой Адели знал эту бесконечно мятущую душу, наивную в своем неведении добра и зла. Это была истинная артистическая натура, вся в изломах, в надрывах, в контрастах. И ведь как ни наполнена была жизнь Аделаиды Гюс распутством, коварством и обманом, она все же не была дурной. Ведь поэта, художника, а в особенности актера, нельзя судить общим судом, мерить общей меркой. Артист живет в им самим созданном мире, который так ярок и красочен, что настоящая жизнь начинает казаться ему скучным, ирреальным сном. К тому же еще актер живет на сцене в области условной морали. Играя героинь после злодеек, распутниц после подвижниц, могла ли Адель не перенести этой условности и в мораль обыденной, действительной жизни?

Нет, затишье души Адели не удивляло Гаспара. Зато оно сильно заботило его. Лебеф понимал, что в этом затишье зреют новые бури. Адель дошла до того рокового предела, когда пустота личной жизни осознается особенно остро, становится особенно невыносимой. До Крюшо она никого не любила, разве только Лельевра. К Крюшо она привязалась со всем пылом стареющей, лишь чудом сохранившейся женщины. Эта любовь могла бы даже спасти Адель, и, удайся тогда их план – сорвать крупную ставку и бежать за границу, можно было бы поручиться, что Адель кончила бы свои дни в мирной буржуазной жизни. Но судьба вырвала у Адели эту последнюю возможность личного счастья. Примирится ли бывшая красавица, что это была действительно «последняя страница» ее жизни как женщины?

Нет, на это было мало надежды. Только смерть окончательно охладит эту пронизанную пламенной жаждой жизни душу! А в особенности теперь, когда Адель лишена вот уже который год привычной сферы деятельности. Хорошо было бы, если бы ей удалось пристроиться в труппу; возврат к сцене отвлек бы ее от не погасшей под пеплом временного затишья надежды еще использовать обаяние своего тела, обаяние, утраты которого она все еще не сознавала...

Думая так, Гаспар машинально лавировал среди густой толпы, особенно стесненной в этом месте, где половину тротуара занимали столики открытого кафе. Вдруг кто-то схватил Лебефа за рукав и весело воскликнул:

– Поймай, гражданин Лебеф! Куда ты так спешишь? Вот кто разрешит наш спор, братцы!

Гаспар от неожиданности сильно вздрогнул. Неожиданным было для него и это внезапное вторжение в его задумчивость, да и само обращение «гражданин», которое в то время уже начинало исчезать и удерживалось только в армии. Но остановивший его именно принадлежал к последней: это был молодой капитан Жюно, сидевший за столиком с капитанами Бертье и Мармоном.

– Рад служить, чем могу, гражданин капитан, – ответил Лебеф, оправившись от первого момента растерянности. – Но я действительно тороплюсь.

– Э-э-э! Пустяки! Да мы и не задержим! – весело отозвался Мармон. – Вот в чем дело, гражданин: ведь ты жил некоторое время в России, бывал при дворе Екатерины и, наверное, встречал там Суворова.

– Да, я встречал его и даже не раз беседовал с ним. Но это было в раннюю пору его деятельности, когда имя Суворова еще не говорило так много, как теперь.

– Но ты все-таки мог составить себе понятие о нем, как о человеке? – спросил Жюно.

– О, еще бы! Эта оригинальная личность сильно заинтересовала меня, я с напряженным вниманием следил потом за его жизнью, и мне не раз приходилось беседовать о нем с лицами, хорошо его знавшими!

– Ну, так что он за человек?

– Разве можно определить в нескольких словах такую сложную натуру, как Суворов? – ответил Лебеф.

– Нет, видишь ли, наш спор вот о чем, – пояснил Жюно. – Поговаривают об образовании новоевропейской коалиции, с Россией во главе. До сих пор Россия была занята польскими делами, с поляками уже покончили, и надо ожидать, что теперь опять возьмутся за нас. Ну, а если это так, то, конечно, во главе армии поставят Суворова. Вот мы и заговорили о нем, сначала как о полководце, потом как о человеке. Бертье уверяет, что Суворов – просто стихийная сила, что это грубый, дикий варвар, дикарь без стыда и совести, безжалостный холоп тиранов...

– О, в чем угодно, но только в холопстве Суворова никак нельзя обвинить! – воскликнул Лебеф. – Да как у вас повернулся язык выговорить подобное обвинение! Для своей гениальности Суворов двигался по службе слишком медленно, потому что не хотел угождать фаворитам императрицы. У него бывали постоянные столкновения с Потемкиным, а все-сильного Зубова он просто третирует, хотя даже пятидесятилетний Кутузов считает за честь дожидаться пробуждения этого низкого временщика, чтобы собственноручно сварить ему чашку кофе и лично принести ее на подносе в спальню! Вот где холопство! А Суворов...

– А Суворов не постеснялся получить семь тысяч душ из награбленных польских имений в награду за свои зверства в Польше! – запальчиво перебил Бертье.

– Зверства! Как можно так говорить? – укоризненно заметил Лебеф. – Суворов действовал именем своей повелительницы, которой присягал в верности. Раз Россия решила покорить вечно мятежную Польшу, мог ли Суворов, верный сын своей родины, отказаться от завоевания?

– Но Суворов пролил реки крови!

– Кровь лилась с обеих сторон.

– Да, но поляки сражались за свободу, а Суворов – за порабощение!

– Ты путаешь понятия, гражданин капитан! – возразил Лебеф. – Нигде не было так мало свободы, как в Польше, и даже в России, несмотря на страшное крепостное право, мужику живется лучше, чем жилось польскому холопу. Не за идеальную свободу, не за ту свободу, ради которой встали мы, французы, бились поляки. Они бились за свободу произвола, и не польский народ, а польское владетельное дворянство восстало на Россию. Но это только так, к слову. Суворов действовал, как солдат, не раздумывая и не рассуждая, а только исполняя

приказ того правительства, которому он служит. Если бы он поступил иначе, он был бы предателем и изменником!

– Он все равно – предатель и изменник перед лицом истины, так как осмелился встретить картечью народ, отстаивавший свое право на национальную самостоятельность! – пламенно воскликнул Бертье. – Надо быть зверем и негодяем, чтобы сердце не дрогнуло жалостью к людям, предпочитающим смерть рабству!

– В таком случае в твоих глазах и я тоже – зверь и негодяй, Бертье? – произнес сзади Лебефа чей-то голос.

Все изумленно обернулись и увидели невысокого, коренастого, худощавого военного, который уже некоторое время незаметно прислушивался к разговору. Этот военный был некрасив, казался изнуренным и истомленным заботами, и все-таки в его лице было нечто отпугивавшее и чаровавшее, уже во всяком случае заставлявшее забывать об обычных мерках красоты человеческого лица.

– Бонапарт! Генерал Вандемьер! – одновременно воскликнули Бертье, Мармон и Жюно. – Присаживайся к нам!

– Так как же, друг Бертье? – продолжал Бонапарт, не обращая внимания на приглашение. – Значит, и я тоже, по-твоему, – зверь и негодяй? Ведь я тоже разогнал картечью банду роялистов-повстанцев!

– Как ты можешь сравнивать! – негодуяще воскликнул Бертье. – Роялисты – враги народа, которому ты служишь, а...

– А поляки – враги России, которой служит Суворов! – холодно перебил его Бонапарт, резко отчеканивая каждое слово. – Тут нет никакой разницы, друзья мои! Роялизм – такой же принцип, как и республиканизм, не более и не менее, не лучше и не хуже! Скверно, когда принцип служит лишь предлогом, лишь щитом для дурных, порочных наклонностей. Но об этом я не говорю, я беру чистое служение принципу. Если сталкиваются два враждебных принципа, – то тут нет ни правых, ни виноватых, ни героев, ни злодеев. Тут только слабый и сильный! Кто смеет сказать, что роялист не прав, если он с оружием в руках идет ниспровергать ненавистный ему принцип народоправия? Но солдату нет дела до нравственной правоты своего противника! Солдат не рассуждает, он исполняет данный ему приказ, он честно несет свою службу! Бертье! Ты знаешь, как я люблю и уважаю тебя! Но если я, генерал Бонапарт, пошлю тебя, полковника Бертье, исполнить военное поручение, а ты откажешься, сославшись на несоответствие этого поручения с твоими убеждениями, я пожму тебе руку, как честному человеку, и затем... прикажу расстрелять, как солдата, забывшего первый, священнейший долг – послушание!

– Да, это похоже на тебя, Бонапарт! – ответил Бертье, добродушно рассмеявшись. – Но только, по-моему, ты не совсем прав! Роялисты, которых ты расстрелял, были бунтовщиками против нынешнего правительства, а поляки – свободный, независимый народ!

– Бунтовщиками! – с горькой усмешкой повторил Бонапарт, пожимая плечами. – Нет, Бертье, они не были бунтовщиками, когда с оружием в руках двинулись на республику, они стали ими, когда побежали от моей картечи! Если бы роялисты оказались сильнее меня, если бы они обратили в бегство моих солдат, тогда они стали бы героями. Но они – побеждены. Теперь герои – мы, а роялисты – бунтовщики! Говорю и повторяю вам: все принципы равны, все идеи одинаково святы, а, значит, все это – личное дело каждого, не имеющее никакого общественного значения. Что вы мне будете говорить о каких-то там переворотах! Разве каждый, кто ниспровергает закон, – непременно преступник? Баррас с товарищами отменили конституцию девяносто третьего года, распустили конвент, учредили директорию и две законодательных палаты; ведь это – полный переворот, полное ниспровержение прежнего, законного строя. Но Баррас – во всеобщем почете, он чуть ли – не отец отечества, а Робеспьер, свято чтивший закон, умер на эшафоте, как злодей и преступник!

– Но он и был кровожадным злодеем! – воскликнул Жюно.

– Нет, – задумчиво ответил Лебеф, – у Робеспьера была детски-чистая, незлобивая душа, стремившаяся к добру и правде. Просто судьба привела его к такой деятельности, к которой он не был способен!

– Ты хорошо знал его? Ты был близок с Робеспьером? – быстро спросил Бонапарт, впиваясь в Лебефа взглядом.

– Я отошел от него в последнее время, но сначала мы были очень близки, – ответил Лебеф.

– Постойте, господа, – остановил их Мармон. – Вот мы и отклонились далеко в сторону! Вернемся к Суворову. Видишь ли, Бонапарт, у нас зашел спор относительно личности этого полководца, и Бертье уверяет, что Суворов – кровожадный зверь, а Жюно доказывает, что у Бертье нет оснований ставить такой приговор. Вот мы и хотели, чтобы наш спор разрешил гражданин Лебеф, который бывал в России и знал Суворова.

– О, этот спор можно разрешить двумя вопросами! – ответил Бонапарт. – Скажи, гражданин, какую жизнь ведет Суворов?

– Это истинный спартаец! В пище и платье Суворов довольствуется только самым необходимым. Роскошь, излишества, ленивая нега неведомы ему.

– Да, таков и должен быть полководец! – задумчиво заметил Бонапарт. – Теперь скажи мне еще, как относятся к Суворову войско и знать?

– Войско обожает его, придворная знать – ненавидит.

– Вот вам полный ответ на ваш спор, друзья! – с торжеством воскликнул Бонапарт. – Если бы Суворов был негодяем и злодеем, знать обожала бы его, а войско ненавидело! Ты неправ, Бертье, ты побежден!

– До свиданья, граждане! – сказал Лебеф. – Теперь я удовлетворил ваше любопытство, и вы, конечно, позвольте мне идти своей дорогой?

– Постой, гражданин, я пойду с тобой! – торопливо кинул Бонапарт, протиснулся кивком головы с компанией и продолжал, снова обращаясь к Лебефу: – Ты зайдешь ко мне, я хочу порасспросить тебя!

Лебеф хотел ответить, что ему некогда, что его ждут, но в тоне молодого генерала слышались столько властной силы, такая твердая уверенность, что ему нет и не может быть отказа, что протест замер невысказанным, и Лебеф покорно пошел рядом с задумчивым Бонапартом.

IV

Все было бедно, скудно и убого в той маленькой комнатке, где Лебеф, следуя молчаливому приглашению Бонапарта, присел на простом табурете. Скромная постель, большой стол, заваленный книгами, чертежами и картами, маленький шкафчик со скудным запасом белья и платья – вот и вся обстановка, если не считать еще пары стульев и рабочей табуретки.

Лебеф молча сидел, ожидая вопросов. Но Бонапарт словно забыл о госте и, заложив руки за спину, взволнованно ходил из угла в угол. Вдруг он сразу, резко остановился против Лебефа и спросил:

– Знаешь ли ты что-нибудь о тактике Суворова?

– Очень мало, – ответил Гаспар. – Ведь я – невежда в военном деле. В общих чертах могу заметить то, что тебе, вероятно, известно. В России армия набирается из крепостных, которые привыкли дрожать перед палкой помещика и в строю дрожат перед палкой командира. Это обеспечивает русской армии большую компактность состава. Русские солдаты пойдут куда угодно, ползут в огонь и воду, кинутся напролом; но если неприятелю удастся обратить их в бегство, то они побегут так же стадно, как стадно шли перед тем на врага. Суворову мало было этого, он задался целью повысить сознательность каждого отдельного солдата. И путем долгой работы ему удалось добиться того, что его солдаты не только компактны, как масса, но и сознательны, как боевая единица. При нападении и защите каждый солдат знает, что ему надо делать; он действует сообща и самостоятельно. Он страшен, как лавина, стихийно несущаяся вперед, все сокрушая на своем пути, и еще страшнее тем, что эта лавина снабжена думающим, рассчитывающим, взвешивающим мозгом!

– И ведь, исходя из этого, Суворов полагается главным образом на холодное оружие, а артиллерия у него на заднем плане? – спросил Бонапарт.

– Пожалуй, что и так, гражданин генерал, – ответил Гаспар. – Недаром Суворов постоянно твердит, что «пуля – дура, штык – молодец»! Он находит, что самый лучший стрелок, самый искусный канонир могут ошибиться, промахнуться, тогда как штыковой удар в руках надлежаще обученного солдата безошибочен.

– Вот-вот! – воскликнул Бонапарт, глаза которого засверкали радостью и волнением. – У каждого великого человека имеется свой слабый пунктик, и это то болезненное место Суворова, на котором я мог бы построить его разгром и свою славу! О, если бы судьба привела меня столкнуться в великом бою с этим гениальным стратегом! О, если бы хоть случай развязал мне руки, если бы я мог свободно взмахнуть крыльями, мощь которых я так отчетливо сознаю! Но я связан, задыхаюсь в тесной клетке бездеятельности! О, как ужасно вечно гореть, вечно пламенеть, чувствовать себя призванным к великим делам, сознавать свою силу осуществить великие замыслы и не иметь возможности, случая доказать свою мощь! Бездарный идиот Шерер губит все французское дело в Италии; я разработал ясный документальный план военных действий, представил его Карно с мотивированной докладной запиской, из которой видно, как дважды два – четыре, что этот план не может не привести к полному торжеству, понимаешь: не может! А эта старая лошадь отвечает мне, что я представил какой-то больной бред вместо плана. Но в том-то и мое несчастье, что меня судят те, кто неспособен быть моими судьями! Как смеет Карно брать на себя решение? Он – талантливый инженер да хороший администратор, пожалуй, но он – не стратег! А я – стратег! Дайте мне случай, дайте мне возможность, и я склоню весь мир под знамена свободной Франции! Я призван к этому, для этого я рожден. О, сознавать это и сидеть, медленно сгорая в пламени неутолимого честолюбия, не видеть исхода, упираться в глухую, инертную стену. Н-нет, я долго не выдержу! Я сгорю в этом костре!

– Да, честолюбие – опасная вещь, гражданин генерал! – тихо заметил Лебеф.

– Вздор! – крикнул Бонапарт. – Если ты говоришь так, значит, ты не знаешь, что такое – истинное честолюбие! Вот ты недавно сказал, что трагедия Робеспьера была в том, что судьба отвела ему неподходящую роль. А знаешь, чего не хватило Робеспьеру? Честолюбия! Если бы у него было честолюбие, разве он допустил бы, чтобы его повели, словно барана, на бойню? Ну как же! Ведь он уважал закон, он подчинился народу! Скажите, какая добродетель! Да разве закон – для всех? Закон обязателен только для рядовых людей, закон – узда для черни. А вождь сам создает законы. Но не вождь – тот, кто спутывает себя той же самой уздой, которую он взял в руки для обуздания масс! Вот в чем была ошибка Робеспьера, вот в чем была его слабость, Но он и не был призван для великих дел: у него не было честолюбия, этим сказано все! Знаешь, что такое был Робеспьер? Вот стоит дом, из которого выгнали хозяина, и стоит этот дом в разгроме и мерзости запустения. Тогда приходит лакей и метет лестницу для нового хозяина, которого он не ведает, часа прибытия которого он не знает. И, когда следы разгрома убраны, когда вычищена грязь и паутина, когда замечена и устлана коврами лестница, лакей уходит. Он сделал свое дело, он не нужен. Вот этим лакеем и был Робеспьер! Он очистил путь новому хозяину, его роль была кончена. Однако хозяин все не идет. Почему? А потому, что этим хозяином может стать каждый, у кого найдется достаточно честолюбия, но именно честолюбия-то нет ни у кого! Может быть, ты думаешь, что оно есть у Барраса, у Ларейвельера, у Ревбея, у Летурнера, у Карно? О, если все мерить их мелким, низменным честолюбием, то мне и желать нечего! В двадцать шесть лет я – генерал, я оказал важную услугу отечеству, мое имя у всех на устах! Сейчас нет в Париже человека популярнее генерала Вандемьера! Но плохо знают меня те, кто думает, что я могу удовлетворяться славой ловкого полицеймейстера! Неужели Бонапарт годен лишь на то, чтобы усмирять мятежный сброд? Неужели этот пронизанный пламенем мозг только и годится для того, чтобы восстанавливать порядок за тех, кто сам не в состоянии оградить свою власть? О, развяжите мне руки, освободите мои крылья, и я смело и гордо войду в дом, который уже стосковался без истинного хозяина! Я пронесу свое имя через весь мир, я кину его на расстояние сотен веков, я...

В дверь постучались. Бонапарт оборвал свою пламенную тираду на полуфразе, с каким-то недоумением осмотрелся вокруг и крикнул:

– Войдите!

Дверь открылась. Вошел Тальма.

– Здравствуй, милый мой Наполеон! – ласково сказал великий трагик. – А ты опять уже оседлал своего любимого конька и понесся на нем в заоблачные сферы? Твой голос разносится далеко вокруг. Но я к тебе на минутку. Ты просил... Вот пустячок...

Тальма сунул что-то в руку Бонапарту, но тот неловко взял протянутое, и три золотых монеты, звеня и подпрыгивая, раскатились по полу.

Бонапарт с веселым смехом подобрал их, кинул на стол и подошел к Тальма, чтобы сердечно обнять друга. Теперь молодой генерал сразу переменялся. Исчез фанатический мечтатель, исчез пламенный, властный честолюбец; все огненное, резкое, знойное рассеялось неведомо куда, и перед Лебефом стоял теперь немного заносчивый, немного наивный, скромный офицерик, на бледном лице которого играла обаятельная улыбка.

– Да, да, гражданин Лебеф! – смеясь сказал Бонапарт, весело подбрасывая над столом золотые монеты. – Вот они, вечные контрасты жизни! Сидишь, бывало, и упиваешься гордыми мечтами, побеждаешь в грезах весь мир, утопаешь в славе, а потом очнешься от мечтаний и примешься замазывать чернилами дырки на сапогах. Да! Если бы не друг Тальма, я, наверное, умер бы с голода. Ах, я и не знаю, как и благодарить тебя, дорогой мой, за эти деньги! Мне необходимо быть на вечере у Барраса, но как я ни равнодушен к вопросам туалета, а тут уж пришлось серьезно задуматься!

– Ничего, Наполеон, жди и верь! Твое время придет, и настоящее минет, как сон! Уже теперь тебе далеко, не так плохо, как несколько месяцев тому назад. Я знаю, что в бедности много унижительного, и твердо верю, что будущее с лихвой окупит тебе все теперешние унижения!

– Унижения! – с добродушной презрительностью повторил молодой генерал. – Полно, милый Тальма, к этому я совершенно равнодушен. Я не жаловался бы и теперь; ты знаешь, каким малым довольствуюсь я для себя лично, но ребятишки!.. – Бонапарт обернулся к Лебефу, и опять обаятельная улыбка заиграла на его лице, когда он пояснил: – Ведь у меня четыре брата и три сестры; только один брат на год старше меня, а то все малыши, неоперившиеся птенчики от девятнадцати до одиннадцати лет! Отца давно нет в живых, я один – их опора. Вот мне и больно, и обидно, что я не в состоянии в достаточной мере обеспечить их, хотя по своим знаниям, способностям и уже доказанной пользе, принесенной отечеству в ряде боев, имел бы полное право требовать этого от правительства. Моя нищета обидна, как показатель несправедливости правительства, ну, а что касается ее унижительности, то к этому я отношусь довольно равнодушно. – Взор Бонапарта сверкнул лукавой иронией, когда он весело продолжал: – Вот знаете ли вы, например, как мне пришлось быть с визитом у этой распутницы Тальен? Как же, интересный был визит! Я просто задышался, даже не от бедности, а от настоящей нищеты. Куда я ни толкался, никто не хотел меня знать. И вот тогда я уже совсем решился уехать на службу к турецкому султану. Вдруг Фрэрон надоумил меня сходить поклониться Терезе Тальен, которая вертит Баррасом, как хочет. Ну, я и задумываться не стал! Пусть Тереза – подлейшая из распутниц, но раз она – сила, разве моя гордость пострадает от того, что я хотя бы через ее посредство добьюсь части того, на что имею право? Вот еще! Я слишком высоко ценю себя, чтобы это могло меня унижить! Ну-с, надел я вытертый, штопаный походный мундир, как можно осторожнее натянул сапоги – они легко могли развалиться, а от подошв на них вообще остался один намек, подмазал дырки чернилами, да и отправился в салон к самой модной даме Парижа. Ну, Тереза – умная баба. Она была польщена, сделала вид, будто не замечает моего убогого вида, расспросила, обещала обратить внимание директоров на то, что молодого и способного генерала оставляют втуне, и очень тактично и ловко сунула мне записочку в интендантство, чтобы мне выдали новое обмундирование. Это было незаконно, так как я не служил в действующей армии, а обмундирование полагается только на действительной службе, но... разве закон пишется для таких, как Тереза Тальен? Я был очень доволен, собрался уже уходить, как вдруг в гостиную вваливается целая толпа мервельезок и инкруаяблев⁶. Бог Ты мой! Словно я в стаю попугаев попал! Кривляются, картавят, трещат, ломаются, лорнируют друг друга. Смотрю я на них и глазам не верю. «Да кто же из нас с ума сошел, они или я?» – думаю. Вдруг один из этих господ обратил свое просвещенное внимание на меня, шепнул что-то своей соседке, та рассмеялась, другие франты в один голос воскликнули свое обычное: «Это пхосто невехаятно»⁷, а один из идиотов направился прямо ко мне. Подошел этот франт, долго лорнировал мои дырки на сапогах и наконец спросил: «Послуште генехаль, это навехное – новая фохма нашей доблестной ахмии? И, конечно, – самая пахадная?» – «Нет, – ответил я, – это – боевая, походная форма, которую я носил на полях сражений, благодаря которым вы теперь можете беззаботно болтать и смеяться! Но я недавно прибыл в Париж, и потому вы простите, что я обращаюсь с вопросом и к вам тоже: скажите, пожалуйста, неужели теперь в добром, честном Париже в моде такие шуты, как вы?» Франт растерялся, хотел что-то ска-

⁶ «Мервельезка» (по-русски значит «великолепнейшая») и «инкруаябль» («невероятный») – прозвище модниц и модников времен директории. Эти «сливки общества» одевались с преувеличенной тщательностью, жеманились, манерничали, картавили. Отчаянный разврат и показное пресыщение жизнью были для тех и других признаками хорошего тона.

⁷ Частному употреблению слова «инкруаябль» (т. е. «невероятно», слово произносилось с проглатыванием буквы «р»: «инкхуаябль») модники времен директории и обязаны своим прозвищем.

зять, не нашелся и ушел, кинув неизменное «это невехаятно!» Ну, так вы, может быть, думаете, что я почувствовал себя оскорбленным, униженным? Да ничуть не бывало! Я смеялся всю дорогу домой! Однако будет обо мне и о моих бедствиях! Слушай-ка, милый Франсуа, мне говорили, что ты опять имел безумный успех в «Нероне»?

– Да... аплодировали, – равнодушно кинул Тальма.

– Как ты это говоришь! – воскликнул смеясь Бонапарт. – Можно подумать, что ты равнодушен к своей славе!

– Э, что такое моя слава! – хмуро ответил трагик, отмахиваясь. – Умри я сейчас, так через год имя Тальма будет звучать чем-то диким и неизвестным. Нашей актерской славе – грош цена! Мы хороши, пока молоды, пока в цвете лет, а случись что-нибудь... ну, так и умирай, словно старая собака под забором! Существуют такие насекомые – эфемериды. Эфемерида рождается летним вечером, вылетает, соединяется с другими новорожденными, исполняет внушенный ей природой великий акт любви и тут же умирает. Вся жизнь этого красивого существа продолжается два часа. Блеснет эфемерида радужными переливами крыльев и холодным трупом падает в реку. Вот и мы, актеры, – такие же эфемериды! Наше искусство не увековечивается, оно умирает в тот же момент, когда появляется. Наша слава не переживает нас; хорошо еще, когда мы умираем одновременно с нею. Но пережить свою славу, жить бледным призраком среди чужих людей, сгорать на костре ярких воспоминаний... о-о-о! – Тальма со стоном схватился за волосы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.